

ТАТЬЯНА
ЛЕОНИДОВНА
РЫБАЛЬЧЕНКО

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЭТИКИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ КАК РАСШИРЕНИЕ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО КРУГА: ПРОЗА Ю. ДАВЫДОВА

В статье обосновывается герменевтический характер доминирующего в современной прозе типа исторического повествования: стремление к истине прошлого проявляется не в мифологизации известного знания, а в постоянной проверке, комментировании, смене дискурсов авторского текста, понимаемого как процесс интерпретации чужих и собственного текстов. Эволюция поэтики Ю. Давыдова показательна для экзистенциальной литературы второй половины XX в.: современность прошлого проявляется не в его модернизации, а в расширении исторически конкретного до универсального, экзистенциального.

Этимология слова «история» (греч.: исследование, рассказ) свидетельствует о том, что не «событие бытия», а «событие повествования», то есть создание текста о прошлом, лежит в основании истории как науки о развитии общества (Клио была музой, то есть покровительствовала искусству). По принципу синекдохи текст отождествляется с объектом — действительностью как результатом действий человека, в отличие от действительности как природы. Аберрация привела к тому, что не только вещественные фрагменты прошлого или физические следы прошлого, измененные временем, но и тексты, свидетельствующие о прошлом, принимаются достаточными, чтобы представлять реальность. Достоверность текстов выше, чем достоверность преданий и легенд, тогда как авторитетность преданий значительнее, нежели авторитетность текстов. Предания — тексты, не зафиксированные материально, дополняются смыслами последующего времени, актуализируются, обретают сегодняшнюю значимость; тексты сохраняют смыслы того времени, в которое они создавались, менее актуальны, но не более достоверны, так как в них есть ограниченность знания, субъективность автора текста. Можно разделить факт (лат.: сделанное), вещное свидетельство, обломок реальности прошлого и документ (лат.: свидетельство), знак, носитель свидетельства о факте; при этом важно, что факт, будучи знаком прошлого, требует семантизации, расшифровки, требует текста о себе; документ, будучи текстом, претендует быть не только свидетельством, но и «толмачом», толкователем исчезнувшей реальности. Текст способен мистифицировать не только смысл факта, но и самый факт, самую реальность, что объясняет споры о подлинности текстов (Евангелий, «Слова о полку Игореве» — ряд большой и разнообразный). Поэтому каждая эпоха обречена вновь обращаться к свидетельствам о прошлом и создавать свой текст о прошлом; точно так же и историческое сознание личности побуждает к ревизии как господствующих моделей прошлого, так и документов, свидетельств прошлого, так и текстов о прошлом, созданных в разных исторических ситуациях.

В этом смысле функция историка и художника (интерпретация текстов) тождественны, а цели могут быть разными: приближение к истине о прошлом или

создание версии прошлого, принимаемой за истину (мифологизация собственного текста). Вряд ли можно разделять художественную и научную историческую прозу на основании объективности или мифологичности: с одной стороны, согласно «Философии символических форм» Э. Кассирера, именно искусство, создавая иллюзию реальности, близко мифотворчеству; с другой — литература признает вымышленность, сделанность своего мира, тогда как наука, претендуя на объективность, закрепляет тексты о реальности в качестве единственной модели, замещает реальность текстами; наука создает правила суждений о прошлом, эпистемы, по выражению М. Фуко, в то время как искусство (и художественная литература, в частности) оставляет место все новым текстам о прошлом. Именно интерпретация, а не моделирование исторического прошлого объявляется прерогативой человеческого сознания, научного и художественного творчества. Идеи М. Хайдеггера [Хайдеггер 1997: раздел «Присутствие и временность»], Г.-Х. Гадамера [Гадамер 1988: чч. 1–2] оказались воспринятыми и художественной словесностью XX в., и исторической литературой (М. Блок и школа анналов отводили исторической науке задачу собирать и выстраивать «опилки документов» [Блок 1986]). Бесконечное приближение к прошлому из настоящего, интенция к разгадыванию, вопрошание прошлого прошлого возникают под воздействием меняющегося настоящего, но и прошлое понимается по-разному по мере обнаружения новых фактов или по мере выстраивания новых связей между ними.

В художественной словесности выделяются три отношения к материальной и текстовой основе исторического сочинения. Во-первых, следование избранным за истинные и достаточные документам и эпистемам, то есть иллюстрация известных концепций исторических событий или исторических лиц, описание известных нравов и вещного мира исчезнувшей культуры. Условно можно назвать этот тип текстов о прошлом «хроникой», воспроизведением «как бы» реального протекания исторического времени, где персонажи — известные исторические деятели, сюжет — ход известных исторических событий, автор — носитель авторитетного исторического знания, хроникер либо обладатель знания о последствиях исторического события, историк. Хроникальная сюжетная проза особенно интенсивно развивалась в советской литературе (историческое повествование, историческая драма), во второй половине XX в. наиболее интересно проявилась в прозе Д. Балашова. Во-вторых, повествование заполняет лакуны исторических документов и воспроизводит воображаемую реальность, вымышленную жизнь в рамках исторических обстоятельств (тип романного повествования В. Скотта, Ю. Тынянова); персонажи такого романа — частные люди, сюжет — сфера личных отношений людей под давлением исторических событий; автор — неавторитетный свидетель или персонаж, их кругозор ограничен временем исторической ситуации. Во второй половине XX в. этот тип исторической прозы доминирует (Б. Окуджава). В-третьих, текст о прошлом рождается на границе документов и вымысла, чужих текстов и собственного текста автора о прошлой реальности, в таком случае предполагаемая подлинность реальности отыскивается и не отождествляется ни с одним из текстов. Прямое введение образов и документов, «прототекстов» («протокол» — греч.: первый лист рукописи), свидетельствующих о реальности, не ограничивается задачей подтверждения прошлого, а порождает исследование, разгадывание, открытие скрытой до того связи между ними и реальностью. Воображение исчезнувшей реальности выражается новым текстом автора, возникает как понимание, как результат аналитической работы, обнаженной в прямой авторской риторике.

Этот тип прозы соединяет наррацию и риторику (рефлексию) автора с чужими текстами; сюжет параллельно воспроизводит и событие разгадывания свидетельств об историческом событии, и реконструкцию самого исторического события, его сущности, неочевидной до анализа, а в полноте — и после анализа; персонажами становятся и сам автор, расшифровывающий прошлое по текстам о нем, и исторические лица, невымышленные участники реальных исторических событий, но и тексты, свидетельства о лицах и событиях прошлого, мистификации событий прошлого (так, важная сюжетная линия романа Ю. Давыдова «Бестселлер» — возникновение и судьба известной мистификации, «Протоколов сионских мудрецов»). При этом новый текст обладает не статусом подлинности (не мифологизируется, как в историческом повествовании), не статусом фантазии (как в прозе вымысла), а статусом версии; поэтому нередко мистифицируется автор-историк, вместо него неавторитетный компилятор, издатель и проч. У истоков такого синкретического исторического текста стоит А. Пушкин, чьи «История пугачевского бунта» и «Капитанская дочка» могут рассматриваться как внутренне связанные тексты; раздвигая романную линию частного человека в потоке истории, Пушкин в «Капитанской дочке» ввел Гринева в реальные исторические события, а реальную историческую личность, Пугачева, сделал вторым центром романного повествования. У Пушкина две позиции автора — историк, интерпретирующий документы, и художник, воображающий прошлое, — разведены; «издатель» мистифицированных «записок» Гринева не имеет статуса автора версии, ему отводится роль монтажера «чужих» текстов, «записок» и эпитафий. В XX в. фрагментарно введенный Пушкиным образ неавторитетного автора развернется в самостоятельный структурный пласт авторефлексии и авторской риторики, параллельный историческому пласту повествования (соединятся процесс и результат авторского осмысления исторических свидетельств). Такую структуру обнаруживает роман Ю. Трифонова «Нетерпение» и зрелая проза Ю. Давыдова.

Проза Ю. Давыдова заняла заметное место в литературном процессе 1960–1990-х гг., ее эволюция может высветить общие искания как исторической прозы, так и всей философско-психологической прозы этого периода. После традиционных биографических романов 1950-х гг., иллюстрирующих иллюзию соответствия документа и стоящей за ними реальности, Ю. Давыдов выходит в диалогическое отношение к прошлому и к свидетельствам о нем: не следовать логике текста документа, но и не навязывать документу современную концепцию. Диалогическая позиция предполагает вопрошание, личную интенцию автора, экзистенциальную необходимость рефлексии по поводу бытия в целом, только эта интенция определяет свободу постановки проблемы и поиск ответа на вопрос, а не подтасовку фактов под концепцию. «Мне кажется, что я иду от проблемы, но не от исторической проблемы, которую я вычитал в книгах, а от того короткого замыкания, которое происходит от соприкосновения проблемы исторической с проблемой современности. ...Без этого историческая проза превратится в антикварную лавку, в нумизматическую коллекцию», — признавался Ю. Давыдов, споря не только с попыткой сводить актуальность исторической прозы к аллюзивности, к переодеванию современности в исторические одежды, но и с попыткой сведения художественной прозы к компиляции известного [«Минувшее...» 1980: 129]. Он, подобно М. Блоку, автору «Апологии истории», ценил в художнике способности следователя, ищущего «улики», знающего «ремесло», а не способность к воображению. Работа с документами, поиск вещественных свидетельств, безусловно, стимулируют воображение, «приобщают» к времени, в котором не жил автор (почерк, исправления, цвет чернил документов помогают

«вживаться» в отошедшую эпоху, в психологию ее людей). Но необходимо преодолевать «колдовскую силу документа, его прельстительную архаику», цель архивных разысканий – «возможность своего взгляда» на прошлое, помимо навязываемых текстами: «По горной тропе, как и по той, что еще не пробита, идешь своей походкой, своим темпом, примечая свое и для себя» [Давыдов 1985: 9, 14]. Найденное новое свидетельство о прошлом помогает объяснить причины, сущность события и поступка, обрести новое понимание прошлого, поэтому полнота вводимых фактов и документов – требование не подлинности, а объективности в разгадывании тайны событий.



Вячеслав Сухов. МЕБЕЛЬ ДЛЯ КАФЕ «АТЕЛЬСИН» / проект

Объективность художника не есть проявление бесстрастности, напротив, личная заинтересованность в решении экзистенциальной проблемы рождает потребность оценки прошлого и учета как можно большего числа фактов, возможно, противоречащих друг другу. «История памятлива, но она и злопамятна», призвана помнить обо всех проявлениях жизни, однако цель искусства – не обвинение или оправдание, а поиск истины, художник должен мотивировать свою интерпретацию фактов и свидетельств прошлого, будучи следователем, а не прокурором или адвокатом. «История, по-моему, удивительная штука. Каждый может переживать по-своему. Поэтому познание истории, описание истории, романы на исторические темы будут всегда переписыванием других. Возражения, споры, согласия, свои концепции, – история принадлежит каждому из нас. ...У меня страсть создать свою версию» [Давыдов 2000: 178].

Ю. Давыдов вступает в диалог с прошлым не как с «другой» культурой, а как с другим проявлением бытия в мире феноменов, то есть бесконечного многообразия индивидуальных проявлений бытия, экзистенциально значимых для личности. Поэтому эволюция Давыдова предстает не как смена концепций, а как приближение к смыслу явлений в результате расширения герменевтического круга, как приближение к трагизму бытия (достаточно точно выстроил эволюцию Ю. Давыдова С. Рассадин [Рассадин 2000]).

Начав в 1950-е гг. со следования господствующим схемам биографического романа, близким агиографической традиции, ограничивавшим вымысел оживляющей иллюстрацией документально подтвержденных событий жизни великих флотоводцев, открывателей земель, Давыдов в 1960-е гг. ищет собственные принципы воплощения прошлого. Первый этап и первый герменевтический круг представлен произведениями 1960-х гг.: «Март» (второе издание – 1964), «Этот миндальный запах» (1965), «Новое небо» (вторая редакция – 1967), «Глухая пора листопада»; в них Давыдов, следуя традиции исторического повествова-

ния, «сажает прошлую действительность на жесткий каркас» события [«Минувшее...» 1980: 134]. В этот период определяется интерес писателя к народовольческому периоду в истории России, когда не элита общества, как в годы декабристского движения, а возникшая после социальной реформы демократическая интеллигенция, осознавшая личностное достоинство и право быть субъектом жизни, с «нетерпением», по определению Ю. Трифонова, стала творить историю, реализовывать собственные идеи и на этом пути, во-первых, потерпела поражение, во-вторых, дискредитировала идеалы. Так входит в прозу Давыдова современная 1960-м гг. тема невоплотимости идеала в реальности и проблема самоопределения личности в неидеальном мире. Поэтика названных произведений следует нормам «объективной» повествовательной прозы: историческая ситуация в судьбе невымышленного персонажа; автор обладает позицией авторитетного знания; концепция события и персонажей выявляется объективным развитием событий; документальная основа спрятана, является границами и определяет логику изображаемого. Изображенная ситуация самодостаточна, ее авторская трактовка определена, повествователь не ищет истины, а обнаруживает ее подтверждение в линейной логике событий, в каркасе известных фактов. Даже в «Глухой поре листопада» (1968–1970), где в центре реальная историческая личность, Дегаев, главный герой предстает под разными фамилиями (след отделения персонажа от прототипа), а детективный сюжет связан с обнаружением в пределах романного мира тождества человека, выступающего под двумя фамилиями, служащего двум организациям, исповедующего исключаящие друг друга цели. Противоречия человека разведены сюжетно.

В прозе Давыдова 1970-х гг. основой становится не саморазвитие исторического события, а поиск этического, психологического, экзистенциального смысла феномена жизни (события, поступка, понимания жизни людьми прошлой эпохи). В этот период Давыдов определяет свою задачу так: «живописание индивидуальных исторических персонажей, причем я имею дело с той индивидуальностью, которая оставила след в истории, с индивидуальностью, которая имеет свои точные координаты, из которых я не хочу и не должен выйти» [«Минувшее...» 1980: 134]. Можно говорить не столько о герменевтическом подходе, сколько о принципе понимания, вживания, отождествления субъекта текста и объекта, что проявляется в уходе автора из текста, в редукции повествовательного слова, в ориентации не на факт, свидетельствующий о деянии, а на характер, «брызжащий из документа» [«Минувшее...» 1980: 133]. Наррация, то есть повествование о событии, теснится перед психологическим анализом, самоанализом, воплощенным во внутреннем монологе, рассказе-исповеди, записках и дневниках. В романе «Завещаю вам, братья» Давыдов дает одному из персонажей, писателю Зотову, сформулировать собственную художественную установку рассказывания о прошлом (о Михайлове, в данном случае): «...Никаких бомб, никаких подкопов. Сюжетами этими многое заслонилося. Нет, хочу, чтоб услышали музыку, которая в его душе звучала, постоянно звучала, хотя и под сурдинку».

Можно говорить о расширении герменевтического круга в прозе 1970-х гг., хотя фабульная концентрация в границах конкретной исторической ситуации остается, сохраняется не хроникальный, а экзистенциальный аспект изображения прошлого: ситуация самоопределения в исторических обстоятельствах. Расширение герменевтического круга создается, во-первых, тем, что не саморазвитие события лежит в основе повествования, а процесс самопознания персонажа и интерпретация персонажем не только события, но всей исторической ситуации; персонаж выходит за границы конкретного события, отказываясь от однознач-

ных объяснений (при этом не имеет значения, в какой позиции к поступку находится процесс анализа: параллельно событию или после события). Во-вторых, в одной ситуации сталкиваются несколько сознаний, дающих разную интерпретацию факта, монологизм (повествователя ли, персонажа ли) преодолевается взаимной коррекцией версий, в читательском сознании возникает необходимость определения авторской позиции, не воплощенной словесно, но проявляющейся как объемлющая все частные позиции персонажей позиция, расширяющая герменевтический круг за пределы художественной реальности. Композиция повести «Судьба Усольцева» (1973), романа «Завещаю вам, братья» (1975), повести «На скаковом поле, около бойни» (1978) основывается на не самодвижении жизни, не на развитии события, а на процессе психологической реакции и анализа события его участниками (главным героем) и свидетелями; монтаж сознаний образует структуру диспута о реальном событии, диспута, основанного не на событийных связях персонажей, а на различии их мировоззренческих позиций. В романе «Завещаю вам, братья» нравственный итог жизни Михайлова; рассказ о нем писателя Зотова, хранившего документы народовольцев (то есть двойной след исчезнувшей жизни протягивается во времени); мистифицированные автором записки Ардашевой, соратницы Михайлова, любившей его, — позволяют столкнуть не только разные аспекты жизни людей конкретного исторического периода, не только разные временные дистанции, проясняющие исторические последствия действий людей в конкретной исторической ситуации, но и разные оценки одной ситуации. При этом превалирует точка зрения людей, испытавших нравственное воздействие главного героя, заявившего о своем несогласии с историческими обстоятельствами. В повести «На скаковом поле, около бойни» последние дни перед казнью Лизогуба и фрагменты его прошлой жизни даны в кругозоре пяти сознаний: самого Лизогуба, его палача, его судьи, его охранника, управляющего его именем, доносившего на хозяина; столкновение разных версий выявляет не правду конкретного события, а отношение всех персонажей к жизненной позиции Лизогуба. В пограничной ситуации все персонажи вынуждены интерпретировать смысл жизни другого, а значит, и смысл собственной жизни, смысл жизни человека как такового.

Психологический анализ автора обретает нравственно-философскую направленность: персонажи, самоопределяясь в конкретном событии, определяются в историческом времени, обнаруживая разный масштаб понимания времени: время конкретной ситуации, время человеческой жизни, время большой истории, в котором обесцениваются или обретают ценность, но в любом случае обнаруживаются последствия действия, выбор людей. Документ в прозе 1970-х гг. может входить как вводный текст в поток речи или сознания персонажей, но главная функция документа — быть предметом переживания, обдумывания для персонажей, документ претворен художественно как невымышленная основа поведения и мышления персонажей. Поэтому автор мистифицирует документальный текст (текст влюбленной в Михайлова соратницы по революционной борьбе Ардашевой в романе «Завещаю вам, братья»; записки врача Усольцева в «Судьбе Усольцева»), хотя границы мистификации устанавливает реальный исторический материал — подлинность персонажа (Усольцева, Зотова) сопротивляется авторскому произволу. Поиск истины о прошлом определяет «дискуссионность» текстов о прошлом, но Давыдов акцентирует в этот период не мнимость утрачиваемого прошлого, а его наличие, заставляющее искать подлинность, не сводя этот поиск к игре, воскрешая прошлое, создавая экзистенциальное присутствие в прошлом. Историческое повествование обретает цель — «борьба с небытием, со смер-

Художественная словесность: механизмы обновления

тью»: «...Когда я работаю с невымышленными персонажами, я словно показываю кукиш смерти, воскрешая его. Это ощущение возникает уже тогда, когда просто назовешь его подлинным именем» [«Минувшее...» 1980: 140].

Изменение поэтики прозы 1980-х гг.: «Две связки писем» (1984), «Коржавин Федор, волонтер свободы» (1986), «Вечера в Колмове» (1987), «Синие тюльпаны. Повесть о бывшем зэке и тайном сыске» (1989) — выражает дальнейшее расширение круга интерпретации истории. Прежде всего, в художественную реальность вводится образ автора, собирателя и интерпретатора документов, художника, воскрешающего из документов исчезнувшее прошлое, но не сочиняющего прошлое. (Первым опытом введения автора-скриптора была повесть «Судьба Усольцева», где мистифицированный текст персонажа сопровождается авторским научным комментарием, ссылками на новые факты о русском поселении в Африке). Во-вторых, расширяется историческое время, оно не ограничивается одной экзистенциальной ситуацией, оно представляет смену, поток ситуаций, то есть положений человека в социуме. Так входит проблема исторических последствий человеческих поступков, проблема причинно-следственных связей не в масштабе одного события, а в масштабе большого времени, сметающего усилия людей, обнаруживающего парадоксальные итоги действий, несовпадение целей и результатов. Очевидно разрушение линейной модели истории, где усилия человека не бесследны, где время проявляет истину, скрытую внутри ситуации существования. Давыдов выходит к пунктирной модели прерывистого развития: исторические цели людей прошлого не реализуются, наступает другая жизнь, поскольку историчны действия и поступки всего множества людей эпохи, и равнодействующая их усилий не совпадает ни с одним из проектов будущего. Но временная дистанция дает момент истины о прошедшей ситуации: какие действия были подлинно ценными, а какие исказили идеалы и цели становится очевидно в позиции вневходимости, при выходе из ситуации. Автор воплощает сознание другой исторической эпохи, но не владеет истиной, а ищет ее. Обретая новое понимание, автор лишается непосредственного, чувственного круга понимания, которым обладали действующие лица прошлого, поэтому ему нужно заново собирать свидетельства прошлого, что и становится сюжетом прозы 1980-х гг. — сюжет создания текста («истории» об истории), параллельный сюжету события. Итак, монтаж версий прошлого, синхронных событиям прошлого, остается, текст фиксирует фрагменты событий, монологов, текстов прошлого, в которых сталкиваются разные интерпретации прошлого. Новый уровень структуры текста представлен авторским метатекстом: текстом о текстах прошлого. Отметим, что в прозе этого периода автор не выступает как суверенная личность, он является только как творец текста, личностно вживающийся в прошлую эпоху и создающий разорванную связь времен, сопротивляющийся «голой истории», закрепленной оставшимися фактами и знаками. Автор ищет новые свидетельства, предлагает новые связи документов, заполняет лакуны гипотезами, но, в отличие от исторической прозы вымысла, подчеркивает недостоверность своей версии.

Наиболее органично новая поэтика воплотилась в романе «Две связки писем», где нет вымышленных персонажей и свидетелей, нет мистифицированных текстов, где реконструируются по разным документам разные исторические ситуации, связанные с русским освободительным движением от 1860-х гг. до социалистической революции. Центральным персонажем становится реальная личность, Герман Лопатин, самоопределяющийся в меняющихся исторических ситуациях, то есть вынужденный интерпретировать меняющиеся политические ситуации, политические идеи, исторические приоритеты и авторитеты, заново

самостоятельно искать истину о людях, об обществе, о направленности социальных изменений. Исторические изменения столь часты даже в пределах отдельной человеческой жизни, а перипетии судьбы Лопатина столь прихотливы, что документальное повествование становится тождественным романному повествованию, где частная инициатива человека ставит его во множество меняющихся, неожиданных ситуаций, из которых он должен выйти, опираясь вновь на собственную инициативу. Романность, таким образом, выражала исключительно самостоятельное положение исторически подлинного персонажа в исторически подлинных обстоятельствах. В отличие от биографического романа, роман Давыдова не только воспроизводит канву событий, но дает процесс самоопределения, процесс интерпретации ситуаций, внутри которых находится исторический персонаж. Лопатин открыт многим идеям и идеалам: вспоминает о декабристских планах преодоления рабства, с сочувствием принимает личное мужество народника Чернышевского и анархиста Кропоткина, переводит марксовы экономические обоснования развития общества, разбирается в сущности революционных идей (Нечаева, народовольцев, социал-демократов). Он являет не только пример органического выбора позиции в истории, но и пример «следователя», разыскивающего улики правды и лжи в политических программах, идеях, поступках. В отличие от героев прозы Давыдова 1970-х гг., Михайлова, Лизогуба, Лопатин переходит от исторического действия (после неудачного и удачного опыта акций по спасению Чернышевского и Кропоткина) к неблагодарной миссии расследователя целей и мотивов исторических действий, разоблачителя нравственного цинизма, макиавеллизма претендующих на историческое творчество (Нечаева, Азефа, большевиков).

Текст романа «Две связки писем» декларирует фактическую основу событий, центральный персонаж дан в границах подлинных свидетельств, в сопоставлении и в восприятии множества других действующих лиц подлинной истории. Автор отводит себе функцию интерпретировать факты реальных судеб и событий, авторский текст обнажает как процесс «связывания» документов, так и психологические гипотезы, объясняющие этическую сущность поступков персонажей истории, ставших персонажами романа. Авторские версии поступков персонажей в романе предстают, во-первых, в лирическом слове автора-повествователя, ищущего не только свидетельства, но мотивы поступков людей из прошлого, иногда обращающегося к личному биографическому опыту (школьные экскурсии автора в Тимирязевский парк вспоминаются для того, чтобы представить психологическую атмосферу доказанного факта: убийства студента Иванова Нечаевым). Во-вторых, в романе появляются повествовательные «картины», сцены, иллюстрирующие или досочиняющие известные факты, что близко традиционной прозе вымысла. Однако фрагменты вымышленного повествования, сосуществуя с документами и их обнаженной интерпретацией, претендуют только на статус авторской гипотезы, не подменяющей документальную основу, а наделяющей известные факты объемом, наполняя их многими подробностями, объясняющими поступок (не только идеологическими, но и бытовыми, психологическими). Метатекстовая структура романа возникает как рефлексия над процессом письма, собирания и интерпретации фактов и документов о прошлом. Цель воскрешения прошлого в воображаемых картинах отходит на периферию, повествование принимает сослагательное наклонение, зато сомнения в любых однозначных выводах о прошлом приближают к истине, поскольку автор не убеждает, а аргументирует текстом своего романа.

Художественная словесность: механизмы обновления

В прозе 1990-х гг. круг интерпретации истории расширяется кардинально. Во-первых, автор вводит не одну ситуацию прошлого (как в прозе 1970-х гг.), не последовательно меняющиеся ситуации прошлого (как в прозе 1980-х гг.), а неограниченную сферу прошлого, из которой, по принципу гипертекстовой структуры, автор выбирает факты, тексты, свидетельства, выстраивая разные цепочки текстов, обнаруживая не причинно-следственные, а типологические связи. Во-вторых, автор вводит в художественный текст не только ситуации «чужого» прошлого, но и круг собственного прошлого, круг своей жизни, то есть выступает в романном мире как интерпретатор прошлого (оставшихся о нем фактов и свидетельств) и как интерпретатор собственной жизни. Удвоение реальности проявляется в обозначении временной дистанции автора и в параллелизме романских коллизий: становление автора в реальности XX в., коллизии его личной жизни в трагической истории XX в. даны параллельно становлению множества персонажей во множестве исторических коллизий прошлого (от древности до XX в.). Сопереживание «другой» жизни соединяется с новым переживанием своей жизни, интенция в прошлое не приводит к перевоплощению в персонажа, образ автора входит не только как образ повествователя, писателя, но и как образ человека, проживающего собственную жизнь.

В прозе Давыдова 1990-х гг. соединяются тексты документов и мемуарных свидетельств; художественные тексты мировой литературы, интерпретирующие прошлое; риторические тексты автора-повествователя, излагающие значение исторических событий и фактов; вымышленные нарративные тексты автора; тексты-рефлексии автора о процессе создания своего произведения; лирические размышления о пережитых автором коллизиях; «картины» пережитых автором событий (невымышленные наррации). Автор периодически освобождается от границ текстов, оставшихся от прошлого, и погружается в реальность, хранимую сознанием, памятью. Тексты корректируются пережитой реальностью, а эмпирическая подлинная жизнь автора, переходя в текст, получает новое понимание. (Примечательно обозначение даты создания романа «Бестселлер»: 1924–2000, то есть годами всей жизни автора). Структура метатекста соединяется со структурой лирической прозы, исповедальной, а не мемуарной, ибо смысл обращения как к «чужому», так и «своему» прошлому не только частная правда, но поиск философской истины об истории, о человеке. История предстает не линейной, но и не хаотичной; открывается вечное повторение социальных и духовных коллизий, прихотливая линия развития и возвращения вспять, поскольку история — результат человеческих действий, исправляющих или обесмысливающих друг друга. Центральной проблемой «Бестселлера» становится проблема самоопределения человека, понимающего абсурдность искажаемых последствий исторических поступков: эта проблема лично важна автору, но он открывает ее важность для людей прошлого времени.

Поэтика «свободной», гипертекстовой, ассоциативной герменевтики проявляется в повестях «Зоровавель» (1992), «Заговор сионистов» (1993), «Такой вам предел положен» (2002), но определеннее всего — в романе «Бестселлер» (2000).

Обозначим еще раз, что принцип расширения герменевтического круга (интенция к Другому — понимание Другого ведет к новому пониманию собственного существования — новое понимание своего существования рождает новую интенцию — бесконечное приближение к сущности через расширение границ существования, границ Тут-бытия) обусловлен меняющейся концепцией историчности существования человека. В 1970-е гг. человек виделся в одной ситуации существования, требующей выбора, и интерес Давыдова был направлен

на процесс выбора: органичность или неорганичность выбора; свобода или детерминированность выбора; значение выбора для судьбы самого субъекта выбора и для других. Вопрос об исторических последствиях был менее важен, поскольку выявлялся механизм формирования личностной позиции, расплата за нее обнаруживалась в жизни самого субъекта и связанных с ним людей (Михайлов – Зотов – Ашинова). В 1980-е гг. на первый план выдвигается проблема исторических последствий поступков людей, зависимость судьбы исторической идеи от поступков, действий, нравственной устойчивости людей (Чернышевского, Герцена, Бакунина, Нечаева, народовольцев, социал-демократов, совершивших революцию в России). Обнаруживается контрапункт истории, цепочка меняющихся ситуаций: деяния и идеи людей обесцениваются, но вновь становятся актуальными в новых социальных условиях, ибо усилиями самосознающих личностей отыскиваются новые смыслы прошлого, история подвергается новой интерпретации и исчезнувшие, казалось бы, следы прошлого становятся эстафетой, передавая как истину, так и ее искажение. Проза 1990-х гг. корректирует модель прерывистой эстафеты духа моделью вечного повторения: расширение исторического времени позволяет обнаружить в меняющихся социальных ситуациях инварианты нравственных ситуаций, повторяющиеся положения: самоотверженности, компромисса, предательства, самоутверждения. «У меня ощущение времени, истории несколько шарообразное. Мне кажется, что мы сосуществуем со своими предками: они решали проблемы, сходные с теми, над которыми бьемся мы, не решили или недорешили, ушли, оставив нам, и, может быть, именно благодаря этому продолжают быть с нами...» [«Минувшее...» 1980: 132]. Плененный Зоровавель, закрытый в каземате Кюхельбекер и переживший сталинский лагерь современный писатель-историк оказываются в общей ситуации выбора: между деянием и писанием, между спасением жизни и сохранением найденной истины о человеческом существовании.

Расширение герменевтического круга свидетельствует о приближении Ю. Давыдова к трагической экзистенциальной философии. От демонстрации позитивных следов действий исторических личностей, живущих не в границах своего времени, а в масштабе большой истории, где могут быть оценены и продолжены опережающие время принципы существования, Давыдов приходит к отрицанию позитивистской эволюционности: история потому не линейна, что она личностна, а самоопределяющаяся личность может как учитывать, так и не учитывать предшествующий опыт, либо вовсе не знать об опыте прошлого, поскольку живет в дискретном времени, в границах Тут-бытия. Поэтому интерпретация прошлого, создание текстов о прошлом – абсурдное, но единственно возможное сопротивление бессмысленности существования в истории: личность самостоятельно, вопреки потребностям эмпирической жизни, расширяет круг своего существования, вбирает разнообразный опыт большого времени, закрепленного текстами культуры, и делает выбор исходя из большого круга, приближаясь к абсолюту. Чтобы избрать абсолют, надо сопротивляться не только прагматизму сознания, но и сознанию безрезультатности служения абсолюту, принятой для себя истине.

Глубокий толкователь прозы Ю. Давыдова Я. Гордин [Гордин 1986] обозначил главную проблему творчества писателя: проблему органичного самоопределения человека в истории, органичности или неорганичности идей, движущих личность, толкающих на поступки, обретающие исторические последствия. Органичность исторической цели проверяется тем, насколько идея вырастает из реальных условий (государственного устройства, культуры, самосознания членов

Художественная словесность: механизмы обновления

общества) и насколько она соответствует характеру героя-идеолога, внутренним устремлениям личности. «Объективная» неорганичность исторических целей и действий исторической личности есть проявление трагической несоединимости идеала и реальности: цели личности не соответствуют сущности реальности и потому ничтожны перед ходом истории, перед потоком поступков, действий множества субъектов отношений; следование собственным ценностям приводит к конфликту с реальностью, делает личность «белой вороной» либо тираном. Приспособление к реальности позволяет индивиду временно занять значимое место в жизни общества, дает иллюзию участия в истории, но заставляет поступаться личными ценностями, «отчуждает», по терминологии экзистенциализма, личность от себя. Две стадии самоопределения — поиск идеала и его реализация — оказываются антиподами по своим последствиям: поиск идеала имеет индивидуальные, судьбоносные, последствия, он меняет способ существования индивида; реализация идеала в деянии вовлекает судьбы других людей и имеет разрушительные последствия. Давыдов обращается к судьбе людей, оставивших след в истории своими деяниями, но интересуется его истина о причинах, заставивших людей искать новые способы существования, по сравнению с существующими. Например, интерпретация частного поступка, приведшего к гибели Михайлова, высвечивает для Ю. Давыдова экзистенциальную сущность революционных идеалов и судьбы революционера: Михайлов арестован, когда он, зная о слежке, заходит в фотографический салон, где остались фотографии народовольцев. Мотивы и смысл этой «ошибки», с точки зрения революционной конспирации, навсегда остались неизвестны, так как не зафиксированы документально, тем самым поступок провоцирует не бесконечную интерпретацию, это то же «завещание» Михайлова, что и его зафиксированные словесно идеи. Безусловны здесь нравственные побуждения «дворника», блюстителя нравственности целей и средств революционной деятельности, безусловно сопротивление прагматической задаче спасения собственной жизни, что заставляет действовать благородно в обстоятельствах, когда благородство невыгодно. В романе «Глухая пора листопада» Давыдов отдает Вере Фигнер («нашей Вере») формулировку «момента истины», момента экзистенциального прозрения как результата объемной интерпретации реальности, когда «кристаллизация души» оформляется в «нравственный постулат»: «невозможность жить без сопротивления тому, что черно», «решение человек должен принимать для себя сам», «нерасторжимость слова и дела».

Искатели и восстановители истины, интерпретаторы бытия, а не деятели, становятся предметом художественного исследования в прозе Давыдова: не организатор политического сопротивления Пестель, а романтик в поэзии и в жизни Кюхельбекер; не самоотверженный ниспровергатель Нечаев, а спасатель людей и истины Лопатин; не диктатор Ашинов, а врач и думающий человек Усольцев; не авантюрист, свободолюбец Коржавин, а разоблачитель двойных стандартов в истории Бурцев. Пожалуй, от 1970-х к 1990-м гг. усиливается интерес Давыдова не к субъектам новых идеалов, а к восстановителям, защитникам истины. Судьба истины: ее утрата и восстановление, ее искажение и очищение от ложных исправлений, ее актуализация — зависит от того, как встретятся в историческом времени субъекты разных ситуаций существования, возникнет ли понимание одного и другого. Не Чернышевский, не Герцен, не Кропоткин, внесшие в сознание новые идеи и идеалы, а Лопатин, читатель разных текстов: декабристов, народовольцев, Маркса, — способный в текстах Нечаева понять чудовищную подмену идеалов революционного изменения общественного устройства, является не толь-

ко центральным персонажем, но и поистине героем романа «Две связки писем». Бурцев, разоблачитель провокаторов, стоит в центре романа «Бестселлер»; поиск истины «дискредитирует» наличествующие представления, поэтому Бурцев ненавистен и государственной власти, ибо разоблачает провокационную систему тайного сыска, и революционерам самых разных политических программ, ибо раскрывает преступные методы борьбы с социальным злом, прикрытые высокими лозунгами. В «Бестселлере» Давыдов обращается менее к Христу, а к его ученикам и их последователям: Иуде, Петру, Павлу, Матфею, Иоанну. Если абсолют не может быть реализован, исторической миссией мыслящего человека остается историческая эстафета идеалов, обретающих статус критерия для интерпретации бытия.

Наконец, третий тип исторической личности, становящейся предметом художественной интерпретации Давыдова, — человек, отказавшийся от абсолюта, усомнившийся в истине и провоцирующий истину в целях подтверждения ее неабсолютности, провокатор: Дегаев, Нечаев, Азеф. Сюжеты Давыдова — это исследование причин сдачи человеком прежних ценностей.

Давыдов акцентировал собственную проблему противоречий истории, не эксплуатируя актуальную для шестидесятников XX в. проблему расхождения целей и средств, разрушительных последствий реализации утопической идеи. Собственная проблема Давыдова — это проблема экзистенциальной веры, не религиозной, не прагматической, а веры в абсолюты, сформированные самой личностью в ходе интерпретации бытия. Подмена идеалов деянием, стремление увидеть результат внедрения идеала в реальность приводит к тирании, к подавлению реальности, подменяет идеалы защиты реальности ее разрушением. В «Двух связках писем» эта подмена исследовалась на судьбе Нечаева и вывела к проблеме нравственной природы личности; в «Бестселлере» среди множества примеров в центр поставлена судьба Иуды, версия жизни самого радикального ученика, готового ускорить реализацию идей учителя. Но само стремление подтвердить абсолюты деянием есть проявление сомнения в них. Неэкзистенциальное сознание ограничено причинно-следственной, линейной, логикой, оно настроено на подтверждение истины, на реализацию абсолюта, тогда как экзистенциальное сознание предполагает надситуативный критерий выбора, не предполагающий реализацию, подтверждения в реальности.

Тема предательства у Давыдова поворачивается темой провокаторства, менее важны психологические аспекты: корысть, самоутверждение, зависть и месть, трусость и самосохранение. Давыдов, возводя конкретные исторические примеры предательства к закрепленному в культурном сознании образу Иуды, напоминает о версиях предательства учителя Иудой, мотивированного желанием подтолкнуть и учителя, и ход событий к быстрейшему и радикальнейшему исполнению идеала (казнь Иисуса позволит и самому учителю от слов перейти к реализации своих мессианских возможностей, и людям отбросить недоверие учителю). Провокатор, экспериментируя, испытывает и веру, и носителей веры, а когда провокация удастся, он обнаруживает обоснование своему предательству в неабсолютности тех идеалов, которым служил, а теперь отказался от них. Обоснование предательства могут быть не только в реальности (она не готова к осуществлению идеала), но и в самом идеале. Так сомнение в собственных идеалах, вообще в наличии абсолюта, становится экзистенциальной причиной предательства, отчуждения от собственных критериев существования и, напротив, дает высшее оправдание поступков, следующих за сменой ценностей, — предательство учителей, соратников, любимых. В итоговом романе Давыдова «Бест-

Художественная словесность: механизмы обновления

селлер» эта тема разработана многогранно. Если в 1970-е гг. Давыдов открывал трагизм личности, опережающей реальность, в которой ее идеалы оказывались неорганичными, то в 1990-е гг. он демонстрировал кризис религиозной и прагматической веры, когда вера требовала доказательств, а неподтверждение веры вело к отказу от прежних ценностей. Иначе говоря, Давыдов отрефлектировал наступление в XX в. постмодернистской ситуации тотальной релятивности, обосновывающей отсутствие абсолюта и «конец истории» как эволюции человеческих ценностей. Его поздняя проза становится экзистенциалистской, выдвигая идею веры в абсурде, веры в неподтверждающийся абсолюта, выдвигая концепцию истории как результата множества персональных «выборов», вечное повторение не только предательств и провокаций, но и восстановления истины. Личность обретает ответственность за обретение и сохранение абсолютов без иллюзий о том, что они восторжествуют. Личностная значимость темы с очевидностью проявилась в том, что собственная судьба становится материалом и входит в текст не только в лирическом дискурсе, но и как предмет интерпретации, одним из вариантов устойчивых ситуаций существования, во множестве открываемых в прошлом и настоящем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986.
2. Гадамер Г.-Х. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
3. Гордин Я. Порвалась связь времен. Об одном направлении современной исторической прозы // Вопросы литературы. 1986. № 3.
4. Давыдов Ю. Заметки практика // Давыдов Ю. Избранное. М., 1985.
5. Давыдов Ю. Наш век — это век Иуды // Знамя. 2000. № 2.
6. «Минувшее меня объемлет живо...»: Я. Кросс, Б. Окуджава, Ю. Давыдов, О. Чиладзе об историческом романе / Беседу вел Ю. Болдырев // Вопросы литературы. 1980. № 8.
7. Рассадин С. Давыдов Юрий // Русские писатели XX в.: Биографический словарь. М., 2000.
8. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.

ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
СУШКОВА

НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ КАК ЖАНР ПИСАТЕЛЬСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ

В статье впервые предпринята попытка анализа лекций, прочитанных писателями во время вручения им премий А. Нобеля. Интерес автора сосредоточен на пяти русских писателях — нобелевских лауреатах.

10 декабря 2006 г. исполнилось 110 лет со дня смерти шведского инженера, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля (1833–1896), учредившего премии тем, кто принес «наибольшую пользу человечеству» независимо от их национальной принадлежности. Девяносто девять писателей, поэтов и драматургов удостоились этих премий. Первый нобелевский лауреат